

## Глава VII

*Наш петербургский кружок. – Субботы у меня. – Увлечение Белинского Леру и Жорж – Сандом. – «Revue independante». – Неловкое положение г. Краевского вследствие нового направления Белинского. – Женитьба Белинского. – Кречетов. – Удар паралича. – Некрасов. – Знакомство с ним и с Григоровичем. – Появление Тургенева. – Два слова об эксплуататорах и об эксплуатируемых.*

После отъезда Бакунина и Каткова Белинский, найдя неудобным жить вдалеке от редакции, переехал с Петербургской стороны к Аничкину мосту в дом Лопатина, куда я также переселился и где нанял себе квартиру г. Краевский после смерти жены своей.

Около Белинского в Петербурге составлялся мало-помалу небольшой кружок из людей, высоко ценивших его как писателя и глубоко уважавших его как человека. К этому кружку принадлежали между прочими: П. В. Анненков, Кавелин (переехавший в Петербург), А. А. Комаров, М. А. Языков, И. И. Маслов, Н. Н. Тютчев и другие; вскоре к ним присоединились Некрасов и Тургенев и позже Ф. М. Достоевский и Гончаров... Из Москвы часто приезжали В. П. Боткин, Искандер и Огарев. Приезды эти были праздником для Белинского и для всех нас. Искандер с каждым приездом своим все теснее сближался с Белинским...

Белинский, с свойственною ему энергиею, начал действовать в новом направлении. Но прошедшее все еще давило его, как кошмар.

– Жизнь моя не должна быть долга, – говорил он мне, – во мне зародыш чахотки, – я это очень хорошо знаю; но я охотно отдал бы несколько лет жизни, если бы мог искупить этим вполне мое безумие, дотла истребить воспоминание об этой эпохе и уничтожить все нелепые статьи мои, относящиеся к ней.

В то самое время, когда в Белинском совершался внутренний переворот под влиянием Искандера, – в Париже появился под редакцию Леру, Жоржа Санда и Виардо «Revue independante». Я принялся читать его с жадностию и, увлеченный статьями Леру, переводил их отрывками Белинскому. Перед этим Белинский прочел все романы Санда, которые были переведены (я перевел нарочно для него конец «Спиридиона»), и прежнее негодование его к Жорж-Санд, так резко выразившееся в статье о Менцеле, заменилось в нем пламеннейшим энтузиазмом к ней. Все прежние его литературные авторитеты и кумиры – Гете, Вальтер – Скотт, Шиллер, Гофман – побледнели перед нею... Он только и говорил о Жорж-Санд и Леру. Увлечение его было так сильно, что он решился учиться по-французски, чтобы читать их в подлиннике. К гегелианству вообще он охладевал немного: о гегелианцах правой стороны он отзывался с негодованием и желчью, но обнаруживал большое сочувствие к гегелианцам левой стороны.

Покуда Белинский освоивался понемногу и не без труда с французским языком (к изучению языков он вообще не обнаруживал способностей), я начал составлять для него историю французской революции по Минье, с прибавлением самых замечательных речей жирондистов и монтаньяров, которые я брал из «Histoire parlementaire de la revolution francaise».

Белинский и многие наши приятели, не знавшие французского языка или мало знакомые с подробностями этой эпохи, сходились у меня каждую субботу, и я прочитывал им то, что успевал составить и перевести в течение недели. Для Белинского открывался новый мир, который до сих пор представлялся ему смутно, по рассказам... Он следил за чтением с лихорадочным любопытством; потрясенный до глубины, он прерывал чтение восторженными восклицаниями, беспрестанно вскакивал со стула в волнении и повторял несколько раз:

– Да! всему виною мое проклятое невежество. Если бы я знал все это прежде, я не написал бы этих безобразных статей, которые составляют несчастье моей жизни, лежат на мне неизгладимым пятном!..

Ко мне в эту зиму (1841) Белинский обнаруживал большую симпатию, чем когда –нибудь, и в увлечении своем приписывал мне такие способности и достоинства, которых я никогда не ощущал в себе...

Я считал себя счастливейшим человеком, видя, что способствовал моим переводом просветлению мыслей Белинского и расширению его кругозора. Я гордился тем, что возбуждал его благородный энтузиазм, доставлял ему минуты высокого наслаждения и пробуждал в нем и в других слушателях гражданское чувство...

Все мои слушатели ждали субботы, как праздника, и следили за моим чтением с напряженным вниманием. Маслов, не имевший до этого никакого понятия о французской революции, был поражен грандиозностью этой эпохи, он трепетал от восторга при речах Верньо, Гаде и других жирондистов и заплакал, когда дело дошло до их смерти... Он и некоторые другие сделались отчаянными жирондистами. Мы с Белинским отстаивали монтаньяров.

Чтение оканчивалось обыкновенно жаркими спорами... Надобно было видеть в эти минуты Белинского! Вся его благородная, пламенная натура проявлялась тут во всем блеске, во всей ее красоте, со всею своею бесконечною искренностью, со всей своей страшной энергией, приводившей иногда в трепет слабеньких поклонников Жиронды.

Маслов каждую субботу после чтения давал нам клятвы, что он выучится французскому языку.

Белинский укорял его в лени и распущенности.

– Если бы у меня было столько свободного времени, как у вас, – говорил он, – я, при всей моей тупости к языкам, давно бы уж выучился по-французски. Как вам не стыдно!.. Я замучен работой, да и тут нахожу время заниматься... и начинаю понемногу смекать по – французски... Через полгода, я даю вам слово, я буду читать свободно и понимать все без труда; а вы...

И тут, постепенно одушевляясь, Белинский раздражался против русского человека вообще, против его апатии, равнодушия ко всему, беспечности, против отсутствия в нем всякой любознательности, и все это приписывал нашей славянской породе.

– Прежде нам была нужна палка Петра Великого, – говорил он, – чтобы дать нам хоть подобие человеческого; теперь нам надо пройти сквозь террор, чтобы сделаться людьми в полном и благородном значении этого слова. Нашего брата славянина не скоро пробудишь к сознанию. Известное дело – покуда гром не грянет, мужик не перекрестится. Нет, господа, что бы вы ни толковали, а мать святая гильотина – хорошая вещь!

Внутренняя ломка, начавшаяся в Белинском после его сближения с Искандером (нет сомнения, впрочем, что она произошла бы и без влияния Искандера, – Искандер только ускорил ее), страдания Белинского, его борьба с самим собою, предшествовавшая радикальному перевороту в его воззрении, была, конечно, видима только его близким.

Г. Краевский ничего не подозревал. Он еще повторял фразы Белинского из его статей о «Бородинской годовщине» и «Менцеле», когда уже в «Отечественных записках» начали появляться рецензии в совершенно противоположном направлении. Когда он заметил перемену направления в своем журнале, это сначала крайне удивило его. Делать, впрочем, было нечего. В области мысли он не был так силен, как в области денежных расчетов, и должен был покориться безусловно Белинскому; ему так же легко было променять свой прежний образ мыслей на новый, как выпить стакан воды... К тому же новое направление, может быть, еще обещало усиление подписки. Вот начало либерализма Краевского.

В начале и половине сороковых годов мало обращали внимания на русскую литературу, существование ее едва замечали. Правительство не только не чувствовало необходимости в пособии литературы, но оно одну мысль об этом сочло бы до крайности дерзкою. Если бы оно

узнало, что самовластие его осмеливаются укреплять на каких-то философских формулах, оно наверно бы зажало рот своим непрошенным защитникам. Силу свою оно основывало на миллионе штыков, а не на философских бреднях. Считаться в это время архимонархическим публицистом не было никакой выгоды, и те, которые заподозривали Белинского в лести и в подкупе, обнаруживали только свою смешную наивность и непонимание дела. Статьи Белинского о «Бородинской годовщине» прошли совершенно незамеченными правительством, а если бы они и были замечены, то нет никакого сомнения, что Белинскому было бы сделано внушение не вмешиваться впредь в дела, не касающиеся литературы. Исключительной областью литературы, по мнению правительства, была природа и любовь, не выходящая, разумеется, из законных форм; мораль заключалась в строгом наказании порока и в награждении добродетели.

К этому позволялось литературе воспевать славу русского оружия и подвиги полководцев... Все литераторы, хоть на одну черту выходившие из этой программы, считались людьми неблагонамеренными... Пушкин был под постоянным надзором полиции, несмотря на свое стихотворение «Клеветникам России». Надеждин, чтобы загладить свои телескопские прегрешения, должен был сделаться усердным чиновником, возвратившись из Усть-Сысольска; Полевой искуплял свой «Телеграф» «Парашами-Сибирячками» и усиливался подделываться под тон Булгарина, считавшегося между журналистами и литераторами образцом благонамеренности...

Необходима была глубокая вера в свои убеждения, соединенная притом с величайшим литературным тактом, чтобы проводить в то время смелую, независимую мысль сквозь тупую цензуру, вооруженную, впрочем, очень острыми ножницами. Белинский, убедившись в своем настоящем призвании и проникнувшись горячей верой в свои новые убеждения, приобрел удивительную способность газировать свою мысль и проводить ее незаметно от цензора, несмотря на его строгий ценсурный надзор...

Но все это стоило Белинскому страшных усилий, и притом не всегда удавалось сдерживать свою энергичную, кипучую натуру, тайком проводить мысль, удовлетворяться иногда только одними намеками на нее... Для него это была невыносимая пытка. Он страдал, выбивался из сил и горько жаловался. С каждым днем он убеждался более и более, что никакое человеческое свободное развитие невозможно с теми принципами, которых он был минутным защитником.

– Я не понимаю, как мог доходить до такого безумия, – повторял он.

Когда он получил первое письмо от Бакунина, в котором тот отрекался от своего прошедшего и издевался над ним, и когда впоследствии доходили до него слухи о Бакунине, сделавшемся самым видным человеком между тогдашними германскими публицистами, Белинский был в восторге от этих известий.

– Каков наш Мишель-то! – повторял он: – впрочем, смешно было бы и сомневаться в нем, – прибавлял он обыкновенно с самую светлую улыбку.

Все мы более или менее, когда туман, застилавший наши глаза, начал рассеиваться, начинали порываться к лучшему будущему, усматривали яснее наш идеал, стали понимать несостоятельность старого порядка и чувствовать его тягость.

На эту тему разыгрывались тогда все разговоры людей, считавших себя передовыми и современными; им, разумеется, подражали остальные, тершиеся около них.

Мой наставник Василий Иванович Кречетов, с которым я познакомил читателя в первой части моих «Воспоминаний», наслушавшись Белинского и других моих приятелей и начитавшись «Revue independante», которое он брал у меня, начал также стремиться к идеалу и жаловаться на то, что человеку мыслящему нельзя жить в этом растленном и разлагающемся обществе, как он выражался. Несмотря на это, он продолжал кушать, как всегда, с большим

аппетитом; с прежнею любовью глядел на сочный кусок ростбифа и с прежнею приятностию, покрывкая, выпивал за обедом до капли бутылку доброго шери (как он называл херес).

Когда он увидел у меня в первый раз Белинского, Белинский чувствовал себя нездоровым, посматривал мрачно и говорил мало... Кречетов затрогивал разные вопросы, на которые Белинский отвечал лаконически и сухо. Желая блеснуть перед Белинским своею ученостию, он цитировал Горация, замечая, что он всего его знает наизусть, рассуждал о романтизме, произнося русское наш, как N французский, и не возбудил ничего в Белинском, кроме улыбки...

– Ну, батюшка, – сказал он мне, – кажется, нет ничего особенного в вашем хваленом Белинском!..

Но когда он увидел Белинского в одушевлении и услышал его в споре, он сжал значительно нижнюю губу и произнес:

– О да, да! В нем видна эта, эта-эта сила, эта мощь... Голова, умная голова!

С тех пор он питал к Белинскому уважение, смешанное с страхом, разумеется скрывая это и хорохорясь перед ним, но не любил его, потому что Белинский никогда не обращался к нему серьезно...

Кречетов заходил ко мне попрежнему довольно часто... Я начал замечать с некоторого времени, что он как будто не в своей тарелке, ест меньше, сидит повеся голову, тяжело вздыхает. Сначала я приписывал это уменьшению его средств и спросил: как идут его уроки?.. На уроки он не жаловался; напротив, у него прибавились новые ученики; да и когда, бывало, он нуждался в деньгах, он брал у меня на определенный срок несколько рублей и возвращал мне их день в день, минута в минуту. Он был необыкновенно честен в этом отношении. Раз как-то я взглянул на него попристальнее. Меня поразили пурпуровый цвет его мясистых щек и краснота глаз, тем более, что он был в совершенно трезвом состоянии.

– Да что с вами, Василий Иванович, вы не очень здоровы? – спросил я его: – вы как-то грустны в последнее время и у вас цвет лица такой странный?..

Кречетов печально, безнадежно махнул рукой.

– Физически я здоров... у меня железная натура, но морально я точно расстроен... Верите ли, что вот уж больше двух недель меня гнетет эдакая, эдакая... непроходимая тоска... Места нигде не нахожу.

– Да отчего же?

– Смешной вопрос! – возразил Кречетов: – мне, как и всякому мыслящему человеку, нестерпимо, невыносимо жить среди этого дикого, пошлого общественного устройства... Я чувствую, что нельзя дышать в этой душной, смрадной атмосфере...

И Кречетов пыхтел и отдувался...

Через день после этого, возвращаясь с урока, он зашел на Сенную, купил добрую часть телятины, взял кулек и хотел отправиться домой... Вдруг почувствовал, что правая его рука, державшая кулек, слабеет и правая нога не повинуетя... Он успел только вскрикнуть в испуге:

– Извозчик!

И упал без чувств на мостовую.

Его привезли домой замертво.

Кречетов две недели перед этим страдал сильным приливом к голове. Не будь он знаком с нами, он, вероятно, не приписал бы своей тоски такой отдаленной и отвлеченной причине; а догадавшись о настоящей, просто пустил бы себе кровь, предупредил бы удар и преспокойно продолжал бы наслаждаться жизнью за куском сочного бифстекса, орошаемого шери...

Вот до каких губительных последствий доводит иногда сближение с так называемыми современными людьми!

Кречетов, впрочем, действительно имел железную натуру. Через два месяца он оправился и прожил после этого лет десять, правда, ковыляя и с покривившимся ртом, но продолжая за обедами своих старых знакомых попрежнему и даже более прежнего наслаждаться жирными телятинами, сочными ростбифами и бифстексами, добрым золотистым шери и т. д. и повторяя заученную фразу:

«В этом растленном обществе жить нет возможности человеку мыслящему!...»

В начале 40-х годов к числу сотрудников «Отечественных записок» присоединился Некрасов; некоторые его рецензии обратили на него внимание Белинского, и он познакомился с ним. До этого Некрасов имел прямые сношения с г. Краевским. Я в первый раз встретил Некрасова в половине 30-х годов у одного моего приятеля. Некрасову было тогда лет 17, он только что издал небольшую книжечку своих стихотворений под заглавием «Мечты и звуки», которую он впоследствии скупал и истреблял. Мы возобновили знакомство с ним через семь лет. Он, как и все мы, очень увлекался в это время Жорж-Сандом. Он был знаком с нею только по русским переводам. Я звал его к себе и обещал прочесть ему отрывки, переведенные мною из «Спиридиона». Некрасов вскоре после этого зашел ко мне утром, и я тотчас же приступил к исполнению своего обещания...

С этих пор мы виделись чаще и чаще. Он с каждым днем более сходиллся с Белинским, рассказывал свои горькие литературные похождения, свои расчеты с редакторами различных журналов и принес однажды Белинскому свое стихотворение «На дороге».

Некрасов произвел на Белинского с самого начала очень приятное впечатление. Он полюбил его за его резкий, несколько ожесточенный ум, за те страдания, которые он испытал так рано, добываясь куска насущного хлеба, и за тот смелый практический взгляд не по летам, который вынес он из своей труженической и страдальческой жизни – и которому Белинский всегда мучительно завидовал.

Некрасов пускался перед этим в издание разных мелких литературных сборников, которые постоянно приносили ему небольшой барыш... Но у него уже развивались в голове более обширные литературные предприятия, которые он сообщал Белинскому.

Слушая его, Белинский дивился его сообразительности и сметливости и восклицал обыкновенно:

– Некрасов пойдет далеко... Это не то, что мы... Он наживет себе капиталец!

Ни в одном из своих приятелей Белинский не находил ни малейшего практического элемента и, преувеличивая его в Некрасове, он смотрел на него с каким-то особенным уважением.

Литературная деятельность Некрасова до того времени не представляла ничего особенного. Белинский полагал, что Некрасов навсегда останется не более как полезным журнальным сотрудником, но когда он прочел ему свое стихотворение «На дороге», у Белинского засверкали глаза, он бросился к Некрасову, обнял его и сказал чуть не со слезами в глазах:

– Да знаете ли вы, что вы поэт – и поэт истинный?

С этой минуты Некрасов еще более возвысился в глазах его... Его стихотворение «Родина» привело Белинского в совершенный восторг. Он выучил его наизусть и послал его в Москву к своим приятелям... У Белинского были эпохи, как я уже говорил, когда он особенно увлекался которым-нибудь из своих друзей... В эту эпоху он был увлечен Некрасовым и только и говорил об нем...

Некрасов сделался постоянным членом нашего кружка...

...Через Некрасова я познакомился с Григоровичем. Григорович был сотрудником мелких изданий Некрасова, и для одного из таких изданий он сочинил плохой рассказ под названием «Штука полотна».

Однажды я встретил Некрасова на Невском проспекте. Он шел с каким-то стройным и высоким молодым человеком очень приятной наружности. Я присоединился к ним.

Каким-то образом у нас зашла речь об издании, в котором была помещена знаменитая «Штука полотна»... Я подшучивал над этим изданием. Некрасов смеялся вместе со мною и прибавлял свои шутки.

– Но уж нелепее всего в этой книжке, – заметил я, – это «Штука полотна»...

– Рекомендую вам автора этой «Штуки», – сказал Некрасов, указывая на молодого человека приятной наружности. – Это г. Григорович...

Я еще не успел смутиться, как Григорович протянул мне руку и сказал, улыбаясь:

– Бога ради, не конфузьтесь... Я сам об этой «Штуке» совершенно такого же мнения, как вы... Уж нелепее и пошлее, конечно, быть ничего не может... Очень рад с вами познакомиться.

Около этого же времени, может быть несколько ранее, я сошелся с И. С. Тургеневым.

Я встречал, еще до моего знакомства с ним, довольно часто на Невском проспекте очень красивого и видного молодого человека с лорнетом в глазу, с джентльменскими манерами, слегка отзывавшимися фатовством. Я думал, что это какой-нибудь богатый и светский юноша, и был очень удивлен, когда узнал, что это – Тургенев.

О Тургеневе я много слышал от Грановского и других, познакомившихся с ним за границей. Грановский, встречавший его в Берлине у Фроловых, отдавал справедливость его уму; но вообще отзывался о нем не совсем благосклонно. Он до самого конца жизни не питал к нему большой симпатии. Я слышал также от многих, что Тургенев имеет блестящее образование, страсть к литературе и пишет очень недурные стихи.

Тургенев скоро сблизился с Белинским и со всем нашим кружком. Все, начиная с Белинского, очень полюбили его, убедившись, что у него при его блестящем образовании, замечательном уме и таланте – сердце предоброе и премягкое.

Тургенев начал свое литературное поприще элегиями и поэмами, которые всем нам тогда очень нравились, не исключая и Белинского.

«Отечественные записки» приобрели в Тургеневе замечательного сотрудника; кружок наш – блестящего и образованного собеседника, хорошо знакомого с иностранными литературами, слегка посвященного в тайны немецкой философии, и мастерского рассказчика, увлекавшегося иногда через край своей прихотливой и поэтической фантазией...

Тургенев не изъят был в это время от мелочного светского тщеславия и легкомыслия, свойственного молодости. Белинский прежде всех подметил в нем эти слабости и зло

подсмеивался иногда над ними. Надо заметить, что Белинский был беспощаден только к слабостям тех, к которым он чувствовал большое сочувствие и большую любовь.

Тургенев очень уважал авторитет Белинского и подчинялся безусловно его нравственной силе... Он даже несколько побаивался его.

Белинский рассказывал множество презабавных выходок с ним Тургенева. Я помню между прочими следующую:

Во время поездки Белинского за границу он встретился где-то в Германии с Тургеневым. Тургенев, видя болезненное его расстройство и тоску, дал ему слово не покидать его...

– Вы соскучитесь со мною, я не хочу стеснять вас, – заметил ему Белинский, – лучше не давайте слова.

Тургенев начал клясться, что он ни за что не оставит его...

Он прожил с ним таким образом дней пять... Тоска тайно томила его, ему хотелось вырваться на свободу, но сознаться в этом Белинскому он ни за что не решился. На шестой день он тихонько вынес свой чемодан и тайком уехал в Англию, не простившись с Белинским...

Белинский очень горячо любил всех своих петербургских приятелей; они благоговели перед ним, смотрели на него как на своего учителя, слушали его не переводя дыхания и принимали на веру каждую его строчку, каждое его слово. Каждый из них готов был за него в огонь и в воду, но из них не было ни одного, который бы мог вступать с ним в состязание относительно теоретических вопросов, а для кипучей, деятельной природы Белинского обмен мыслей, спор, состязание с бойцом равной силы были потребностью... И потому Белинский часто скучал в своем кружке и, чтобы сколько-нибудь удовлетворить свою потребность, за отсутствием живого слова, писал длинные послания к своим московским друзьям о разных вопросах, тревоживших его... И когда кто-нибудь из них, особенно Искандер или Грановский, приезжали в Петербург, он, как говорится, отводил с ними душу. Появление Тургенева оживило его. В нем он мог найти до некоторой степени удовлетворение своей потребности и потому сильно привязался к нему. Впрочем, Белинский никогда ни на кого из своих петербургских друзей не смотрел с высоты своего авторитета и никому из них не дал ни разу почувствовать своего превосходства; напротив, он отыскивал в каждом лучшие его стороны, даже преувеличивал их.

Он высоко ценил в Языкове кротость его характера, мягкость сердца, бесконечную преданность его друзьям и отсутствие эгоизма, доходившее до пренебрежения собственных выгод; в Анненкове он восхищался разумным эгоизмом, умением отыскивать себе наслаждение и удовлетворение во всем – и в природе, и в искусстве, и даже во всех мелочах жизни... «Это один из самых счастливейших людей, каких я встречал в жизни, – говорил про него Белинский, – здоровая, цельная натура, неиспорченная этой поганой рефлексией, которая была развита в нашем московском кружке до болезненности». На Кавелина он смотрел с любовью, как на благородного, пылкого, без меры увлекающегося и доверчивого юношу, и замечал иногда с улыбкою: «Одно только беда, что ведь он до старости останется таким!»

Кавелин, только что переселившийся тогда в Петербург, поселился на одной квартире с Н. Н. Тютчевым и Кульчицким.

В этой квартире Белинский до своей женитьбы обыкновенно отдыхал от своих занятий. Две недели в месяц он почти не выпускал пера из рук и не отходил от своего стола; другие две недели отдавался развлечению. Развлечение это большею частью состояло в преферансе, по 3 к., до которого Белинский был страстный охотник... Чаще всего мы собирались вечером на преферанс в квартире трех приятелей. Кульчицкий, очень добрый малый (умерший за два года до смерти Белинского в чахотке), известен был кое-какими журнальными статьями и шуточным трактатом о преферансе. Он был искренно привязан к Белинскому и всеми силами старался угождать ему. Он приготавливал обыкновенно карточный стол за полчаса до нашего

прихода, сам тщательно вычищал зеленое сукно, так что на нем не было ни пылинки, клал на него четыре превосходно заостренных мелка и колоду карт.

Когда мы с Белинским входили, Кульчицкий торжественно обращался к Белинскому, подводил его к столу и восклицал:

– Как вы находите это зеленое поле?.. Не правда ли, это радует сердце?

Белинский приятно улыбался – и мы, по требованию его, немедленно приступали к делу...

...Белинский привязывал к себе не только людей мыслящих, вполне понимавших его и разумно ему сочувствовавших, но и людей самых нехитрых, не имевших никакого понятия об отвлеченных предметах. Незадолго до этого к нему привязался некто князь Козловский, человек очень слабый духом, но геркулес по физической силе: он ломал кочерги, свертывал в трубку целковые и тому подобное... Князь Козловский ухаживал за Белинским во время пребывания своего в Петербурге, как нянька за ребенком, и всякий день на столе Белинского появлялись какие-нибудь сюрпризы: то окорок ветчины, то какая-нибудь необыкновенная колбаса, то бутылка бургонского.

Князь Козловский отправился потом в Крым вместе с князем А. Н. Голицыным, который и умер на его руках. Голицын завещал ему кое-какие вещи – и Козловский, возвратившись в Петербург, все их раздарил Белинскому и его друзьям.

\* \* \*

После женитьбы своей Белинский редко выходил из дому; его болезнь, развиваясь постепенно, стала сильно тревожить его; он сознавал вполне безнадежность своего положения, как это видно из письма его, которое читатель найдет далее; строгость цензуры по временам делалась невыносима, отношения его к г. Краевскому с каждым днем становились тяжелее... Г. Краевский сделал какую-то ничтожную прибавку к его плате после его женитьбы, все еще ссылаясь на свое стесненное положение и на долги, хотя в это время все его долги были уже выплачены им, что все мы очень хорошо знали...

– Боже мой, если бы я мог освободиться от этого человека, – говорил нам Белинский: – я был бы, мне кажется, счастливейшим смертным. Ходить мне к нему, любезничать, улыбаться в ту минуту, когда дрожишь от злобы и негодования, – это подлое лицемерие невыносимо для меня. В те минуты, когда я сижу с ним, я презираю самого себя; а между тем, что мне делать?.. где выход из этого положения?.. Если бы только вы могли вообразить, с каким ощущением я всякий раз иду к нему за своими собственными, трудовыми, в поте лица выработанными деньгами!

С г. Краевским Белинский и все мы виделись редко. Г. Краевский усиливал себя быть с нами любезным, но внутренне, вероятно, мало питал к нам расположения и должен был чувствовать неловкость в нашем присутствии, сознавая, что мы видим его насквозь. Еще лучше всех из нас он был с Боткиным, на которого иногда находили пароксизмы нежности даже и относительно г. Краевского. Г. Краевский всех нас в душе своей считал мальчишками, по крайней мере это презрительное слово, говорят, вырывалось у него в минуты гнева против нас...

И мы были действительно мальчишками, и первым мальчишкой из нас был Белинский. Не сознавая того, что г. Краевский держится одною только духовною силою его и его кружка, что без этой поддержки, без этой силы, он, даже при пособии своих друзей Галахова и Мельгунова (да к тому же Межевич перебежал от него в это время тайком к Булгарину), не мог бы продержаться более двух лет с своим журналом, – Белинский и все мы с чего-то воображали, наоборот, что мы зависим от г. Краевского, что нам нет без него спасения, и наперерыв друг перед другом, за ничтожную плату, а некоторые совсем бескорыстно, употребляли все богом данные им способности – для обогащения г. Краевского. Лишенные всякого практического смысла, не находя в себе самих достаточной самостоятельности, мы



создали себе кумир, украшали его своими приношениями и жертвами, кланялись ему, заискивали его внимания, даже робели перед ним (впоследствии я приведу довольно забавные факты робости некоторых из нас перед г. Краевским) и если осмеливались роптать на него, то исподтишка.

Как же винить кумира за то, что он умел ловко пользоваться положением, ему данным, что он эксплуатировал в свою пользу горячих, но неопытных юношей, которые, связав себя добровольно по рукам и по ногам, отдали себя в его полное распоряжение?

Все кумиры – и гораздо позначительнее – обыкновенно поступают так...

Если бы Белинский и все друзья его, выносившие «Отечественные записки» на своих плечах, в один прекрасный день вдруг одушевились энергией, в полном сознании своих сил пришли к г. Краевскому как власть имеющие и сказали бы ему:

«Милостивый государь! До сих пор мы, по нашей молодости и неопытности, подчинялись вашей грубой силе, которую мы сами же развили в вас нашим добровольным подчинением вам и отречением от собственной воли. Теперь мы сознали, что вы собственно ничего, что вы не имеете самостоятельной духовной силы, а держитесь на поприще журналистики только Белинским и его кружком. Силу, вам данную им, вы употребляли до сих пор исключительно только для своей личной выгоды, вы нас притесняли, эксплуатировали нами, приписывали себе наши труды и щеголяли, как известная птица, павлиньими перьями... Мы чувствуем теперь, что можем обойтись и без вас и начать жить самостоятельною жизнью... Вот вам ваши „Отечественные записки“ – управляйтесь с ними, как хотите, и ищите новых жертв для вашей эксплуатации...»

Что бы отвечал г. Краевский на такую геройскую, неожиданную выходку?

Он, как всякий человек в крайнем положении, вероятно, струхнул бы, стал бы клясться и божиться, что он никогда никого не думал притеснять, что он всегда считал Белинского своим спасителем, предлагал бы ему различные уступки и, в случае упорства Белинского, вероятно принял бы его в половинную долю, как это он сделал в наши дни с г. Дудышкиным.

Белинский, конечно, растрогался бы этим и согласился, не рассчитав того, что вся материальная часть журнала осталась бы все-таки на руках г. Краевского – и он мог, как человек ловкий и практический, выводить Белинскому к концу года какие угодно счета. Все – таки положение Белинского при этом значительно улучшилось бы.

Но ни Белинскому и никому из нас не приходила такая дерзость в голову, да если бы и пришла кому-нибудь, то не могла бы осуществиться, потому что вообще в нас, русских людях, не только не было тогда, но и до сих пор нет ни малейшего единодушия, никакого *esprit de corps*, потому что мы до сих пор только герои на словах, а трусы на деле, потому что нам, в нашей апатии, легче подчиниться кому-то ни было и сносить по рутине эту подчиненность, чем вооружиться на минуту энергией для приобретения себе на целую жизнь независимости и самостоятельности.

Если бы Белинскому и пришла мысль открыто восстать против г. Краевского, то он наверно бы встретил противоречие в своих друзьях и не успел бы согласить их на свой подвиг...

Вот отчего разного рода Краевские торжествуют в сем мире и преспокойно загибают жар чужими руками, еще прикидываясь подчас либералами и толкуя о гуманизме!